

**О СУЩНОСТИ
ФИЛОСОФСКОЙ КРИТИКИ
ВООБЩЕ И ЕЕ ОТНОШЕНИИ
К СОВРЕМЕННОМУ СОСТОЯНИЮ
ФИЛОСОФИИ В ЧАСТНОСТИ**

В какой бы области искусства или науки ни заниматься критикой, она требует мерила, которое столь же независимо от ценителя, как и от того, чье произведение оценивают, и исходит не из единичного явления или особенности субъекта, а из вечного и неизменного прообраза самой сути дела. Подобно тому как идея изящного искусства не создается и не изобретается художественной критикой, а просто предполагается, так и в философской критике идея самой философии есть условие и предпосылка, без которых критике вечно пришлось бы противопоставлять субъективности — субъективностям и никогда не удалось бы противопоставить абсолютное обусловленному.

Так как философская критика отличается от художественной не оценкой способности к объективности — эта способность находит свое выражение в произведении (в этом философская критика обладает равными с критикой художественной притязаниями на общезначимость), — а лишь своим предметом или лежащей в его основе идеей, которая не может быть чем-то иным, кроме идеи самой философии, то отрицать за философской критикой объективность суждения значило бы утверждать возможность не различных форм одной и той же идеи, а существенно различных и тем не менее одинаково истинных философий. Подобное представление, каким бы утешительным оно ни казалось, не за-

служивает серьезного внимания. Есть лишь *один* разум, поэтому и философия только *одна* и лишь *одной* быть может. И так же как не может быть разных разумов, не может быть оснований возводить между разумом и его самопознанием стену, благодаря которой самопознание могло бы получать существенное различие в явлении; ибо разум, рассматриваемый абсолютно, и поскольку он становится объектом самого себя в самопознании, то есть становится философией, опять же *един*, потому непременно тождествен.

Так как основание различия в самой философии не может заключаться ни в ее сущности, которая просто *едина*, ни в неравенстве способности к объективному изображению идеи философии, ибо именно с философской точки зрения сама идея — все, способность же изображать ее как дополнение к обладанию идеей дает философии лишь еще одну, не специфически присущую ей сторону, то возможность бесконечно многих и различных рефлексий, каждая из которых рассматривалась бы другой как образ, различный по своей сущности, и имела бы одинаковое право утверждать себя против других, могла бы быть обнаружена лишь благодаря тому, что мы, определяя философию как познание абсолютного, само это абсолютное — будь то бог или, при ином взгляде, природа — мыслим в неподвижном и абсолютном противоположении познанию как субъективному.

Однако и при такой точке зрения различие должно было бы снять себя само и усовершенствовать себя. Ведь если познание представлено как нечто формальное, то в своем отношении к предмету оно мыслится как нечто чисто пассивное, и от субъекта, который должен быть способен к такому принятию в себя божества или к чистому объективному созерцанию природы, требуется, чтобы он вообще замкнулся от всякого другого отношения к какому-либо ограничению и воздержался от всякой собственной деятельности, поскольку иначе замутняется чистота такого принятия в себя. Подобная пассивность вбирания в себя и равенство объекта вели бы к тому, что представленное как результат, а именно познание абсолютного и вытекаю-

щая отсюда философия, непременно оказывалось бы всегда одним и тем же самым.

Итак, критика как объективная оценка вообще возможна потому, что есть только одна-единая истина разума, так же как и красота. Отсюда само собой следует, что критика имеет смысл только для тех, в ком наличествует идея единой философии, и равным образом она может касаться лишь тех произведений, в которых эту идею можно распознать как высказанную более или менее отчетливо. Дело критики совершенно не существует для тех людей и относительно тех произведений, которые лишены этой идеи. Именно отсутствие идеи приводит критику больше всего в замешательство: ведь если любая критика есть лишь подведение под идею, то там, где идеи нет, необходимо прекращается всякая критика, не будучи в состоянии обрести какое-либо иное непосредственное отношение, кроме отношения отбрасывания. А в отбрасывании она разрывает всяческую связь между тем, в чем идея философии отсутствует, и тем, чему таковая служит. Поскольку тем самым снимается взаимное признание, налицо оказываются только две противостоящие субъективности: а что не имеет между собой ничего общего, как раз поэтому выступает как равноправное относительно друг друга; поэтому критика, объявляя объект оценки чем угодно, только не философией — а поскольку таковой не желает быть ничем, кроме философии, то и объявляя его вообще ничем, — ставит себя в положение субъективного, и ее приговор предстает как одностороннее безапелляционное решение; поскольку же деятельность критики должна быть объективной, такое положение прямо противоречит ее сущности; приговор критики — апелляция к идее философии, однако последняя, не будучи признана противной стороной, выступает для последней как самозванный суд. От такого положения критики, отсекающей не-философию от философии, то есть от необходимости стоять на одной стороне и иметь не-философию на другой, нет прямого спасения. Поскольку не-философия отрицательно относится к философии и, следовательно, о философии не может быть и речи, то не остается ничего иного, кроме

объяснения того, как проявляется эта негативная сторона, выдавая свое ничто-бытие, которое, коль скоро оно является, называется пошлостью. И поскольку может быть только так, что то, что с самого начала было ничем, в дальнейшем все более и более является как ничто, так что оно может быть вполне признано таковым, то критика этой продолженной из первичной ничтожности конструкции примиряет и ту неспособность, которая в первом начальном приговоре не могла видеть ничего, кроме своеволия и произвола.

Там же, где идея философии действительно наличествует, дело критики — выяснить вид и степень, с которой эта идея выступает свободно и ясно, а также объем, в котором идея эта развилась до научной системы философии.

Что касается последнего, то, если чистая идея философии выражается как наивность, не объятая духом и не достигающая объективности систематического сознания, следует принимать это с радостью и удовлетворением. Это отпечаток души прекрасной, вследствие инертности своей уберегшейся от грехопадения мышления, но и лишенной мужества низринуться в него и довести свой грех до искупления, а потому и не достигнет самосозерцания в объективном целом науки. Пустая же форма таких умов, которые тщатся в немногих лишенных духа словах выразить суть и главный смысл философии, не имеет ни научного, ни какого-нибудь иного важного значения.

Когда же идея философии становится более научной, следует отличать индивидуальность, которая выражает ее характер без ущерба для единой идеи философии и ее чисто объективного изображения, от субъективности или ограниченности, вмешивающихся в изображение идеи философии; против замутненной подобным способом видимости философии обязана главным образом обратиться критика, разрушая такую видимость.

Если при этом обнаружится, что идея философии действительно подразумевается, то критика может предъявлять требованию и выражающейся потребности то объективное, в чем эта потребность ищет своего

удовлетворения, и опровергать ограниченность образа его же собственной подлинной тенденцией к совершенной объективности.

Здесь может быть одно из двух. Возможно, во-первых, что сознание в своем развитии не поднялось еще над субъективностью; идея философии не возвысилась до ясности свободного созерцания, остается случай с более темным фоном, хотя бы потому, что формы, в которых многое выражается и которые обладают большим авторитетом, препятствуют прорыву к чистой бесформенности, или, что то же самое, к высшей форме. Даже если критика окажется не в состоянии представить данное произведение или деяние как образ идеи, то она хотя бы не упустит из виду и стремление к нему; собственно научный интерес состоит здесь в том, чтобы очистить шелуху, которая мешает внутреннему стремлению ввысь узреть свет; важно знать все многообразие рефлексий духа, каждая из которых должна иметь свою сферу в философии, равно как и все подчиненное и недостаточное в этих рефлексиях.

Или же выясняется, во-вторых, что идея философии осознана более отчетливо, но субъективность стремится защититься от философии, поскольку это нужно ей ради своего собственного спасения.

В этом случае речь идет уже не о возвышении идеи философии, а о том, чтобы вскрыть уловки, к которым прибегает субъективность, чтобы избежать философии, а также ясно показать слабость, надежным прибежищем которой является ограниченность, частью в себе, частью же в отношении идеи философии, объединяемой с субъективностью; истинная энергия этой идеи и субъективность несовместимы.

Есть еще одна манера, от которой по преимуществу не должна отступать критика, а именно манера, которая уверяет, будто владеет философией, использует формы и термины, с помощью которых выражают себя великие философские системы, обо всем говорит, но представляет собой в сущности пустую оболочку, лишенную внутреннего содержания. Благодаря многоречивости и самомнению подобное суесловие добывается своеобразного авторитета, частью потому, что кажется

почти невероятным, что в таком количестве шелухи не обнаружится ядра, частью же потому, что у этой пустоты есть особая общедоступность. Нет ничего отвратительнее этого превращения философски-серьезного в плоское, и критика должна идти на все, чтобы предотвратить это бедствие.

Эти две разные формы главным образом задают тон в нынешнем немецком философствовании, которое и является объектом нашего критического журнала. Их особенность в том, что с тех пор, как благодаря Канту и еще более Фихте была обоснована идея науки, особенно идея философии как науки, и прошло время, когда было возможно выдавать себя за философа, высказав разные философские соображения о том или ином предмете, например, в трактатах, написанных для академий, словом, философствование о единичном потеряло всякое доверие, — с тех пор любое философское начинание разворачивает себя в науку, в систему, или по меньшей мере возникает в качестве абсолютного принципа всей философии, в результате чего появляется такое множество систем и принципов, что это придает философствующей части публики внешнее сходство с тем состоянием греческой философии, когда каждый более замечательный философский ум разрабатывал идею философии в соответствии со своей индивидуальностью. В то же время философская свобода, пренебрежение к авторитету и самостоятельность мышления достигли, похоже, у нас такого расцвета, что сочли бы зазорным для философа называть себя представителем какой-нибудь уже существующей философии; самостоятельность мысли полагает нужным возвещать о себе исключительно своей оригинальностью, изобретая непременно собственную и непременно новую систему.

Насколько необходимо внутренняя жизнь философии, проникая во внешний образ, придает ему многое от формы своей специфической организации, настолько же сильно оригинальность гения отличается от *особенности*, полагающей и выдающей себя за *оригинальность*; ибо эта особенность, если рассмотреть ее поближе, на самом деле держится в пределах столбовой дороги куль-

туры, не будучи в состоянии даже похвалиться, что вышла отсюда к чистой идее философии; ведь постигни она эту идею, она распознала бы ее в других философских системах и тем самым, даже сохраняя свою собственную живую форму, не могла бы присваивать себе имени *собственной* — особой — *философии*. То собственное, что она создала в пределах этой столбовой дороги, есть особенная форма рефлексии, подхваченная какой-либо единичной и тем уже подчиненной точкой зрения, рефлексии, которая недорого стоит в наш век столь многостороннего образования рассудка, особенно разнообразно обработанного в области философии. Совокупность этих оригинальных тенденций, многоликого стремления к собственным — особым — формам и системам мало походит на картину свободного роста многообразнейших живых форм в философских садах Греции, она скорее являет собой зрелище осужденных на муки, которые либо навеки прикованы к своей ограниченности, либо цепляются то за одну, то за другую ограниченность, восторгаясь всею по очереди, вынужденные затем отбрасывать их одну за другой.

Что же касается труда, требующегося, чтобы расширить *подобную особенность до системы* и представить ее в виде целого, то этот труд неминуемо оказывается слишком трудным, и особенность должна потерпеть здесь крушение, ибо как могло бы ограниченное расширяться до целого, не взорвав тем самым само себя изнутри? Сама страсть к особенному принципу направлена на то, чтобы обрести нечто лишь себе присущее и лишь для себя достаточное, что уклоняется от притязания на объективность знания и на его целокупность. И все же в той или иной мере, в объективной ли форме или хотя бы как материал, как некоторая сумма знаний, целое всегда наличествует; его трудно насиловать, трудно последовательно проводить через него свое особенное понятие. В то же время никак непозволительно лишь мимоходом, безо всякой взаимосвязи вводить целое просто потому, что оно уже наличествует. Самая бурно-гениальная манера состоит в том, что вовсе не заботятся об этом, просто выставляют свой специфический принцип как единственный — и

пусть себе остальное знание само заботится о поиске взаимосвязи с ним; определять же основному принципу его научный объективный объем считается при этом чуть ли не презренным занятием. Если же, с одной стороны, такой объем наличествует, а с другой стороны, не затрачены силы, необходимые для приведения всего многообразия знаний во взаимосвязь и в связь с ограниченностью принципа, то все эти требования объединяет та манера, которая философствует временно и взамен чего-то другого, то есть она вводит наличное не из потребности в системе знаний, а на том лишь основании, что, как ей кажется, его назначение в том, чтобы упражнять голову, — иначе зачем еще ему быть в наличии?

Добрую службу такому взгляду сослужила критическая философия. Именно она, говоря ее же словами, показала, что рассудочные понятия имеют областью своего применения только опыт, что теоретические идеи рассудка лишь запутывают познающий разум в противоречиях, а что касается знания, то его объекты должны даваться вообще через чувственность. Все это используется для того, чтобы в науке отказаться от разума и предаться откровеннейшему эмпиризму. И если теперь самые грубые привнесенные в опыт понятия и созерцание, оскверненное кричащими порождениями лишенной духа рефлексии, выдаются за внутренний и внешний опыт и за факты сознания и под этим названием все сваливают в кучу, основываясь на неизвестно откуда взявшемся заверении, что все это находится в сознании, — то происходит это со ссылкой на критическую философию, которая-де обосновывает необходимость для познания опыта и восприятия, а разум ставит не в конститутивное, а только в регулятивное отношение к знанию. Мало того что не-философия и ненаучность, всегда свободно презиравшиеся философией, приняли теперь для своего оправдания философскую форму, они тем самым добились еще больших преимуществ, примирив с философией здравый смысл людей, всякое ограниченное сознание и его ярчайшие цветы — высшие моральные интересы человечества, какие только существуют на сегодня.

Но если субъективность встречает затруднение в своих попытках представить себя системой, в частности потому, что уже критическая философия по крайней мере сделала значительную совокупность конечных форм подозрительной и непригодной для использования, если понимание собственной ограниченности и своего рода нечистая совесть обременяют субъективность и она остерегается выдавать себя за абсолютное, то как может она, не обращая внимания на собственное знание и на преподносящуюся ей идею философии, сохранять себя самое и свою значимость? Итак, должно начинать с формы, признанной конечной, и она не должна представлять собой ничего, кроме произвольной по видимости отправной точки, которая, разумеется, не основана сама на себе, но с которой можно согласиться, потому что впоследствии она окажется полезной, пока же эта форма пусть будет временной, проблематичной и гипотетичной; задним числом она уж найдет для себя законное основание. Если, отправляясь от нее, мы достигнем истинного, то в благодарность за указание пути эта произвольная отправная точка будет признана необходимой и оправданной на деле. Но так как истинное не нуждается в том, чтобы его водили на помочах, но должно иметь в себе силу сразу выступить самим собой, а ограниченное, каковым оно само признано в том, что, как допущено, внутри него нет смысла своего пребывания и оно является всего лишь чем-то гипотетическим и проблематическим, в конце концов все же должно оказаться подлинно истинным, то выясняется, что главное было в спасении конечного; что впоследствии уже не должно быть гипотетическим, не может быть таковым с самого начала, или что было гипотетическим вначале, не может стать категорическим впоследствии, иначе оно сразу же выступило бы как абсолютное, но так как гипотетическое для этого, как тому и следует быть, слишком застенчиво, то ему нужны окольные пути, чтобы ввести абсолютное с черного хода.

Когда подобная конечная отправная точка, ни на что якобы не претендующая, выдается за нечто временно гипотетическое, то это приводит лишь к очередной

иллюзии: в любом случае — выступает ли отправная точка как нечто гипотетическое или сразу же как нечто достоверное — результат один: конечное остается тем, что оно есть, сохраняясь в своей отделенности, а абсолютное остается идеей, потусторонним, то есть обремененным конечностью.

Достоверная отправная точка, достоверность которой в том и состоит, что она улавливается в непосредственном сознании, своей непосредственной достоверностью восполняет, по-видимому, то, что она теряет из-за своей конечности, а чистое самосознание, взятое в качестве отправной точки, является таковым лишь постольку, поскольку оно полагается как сознание чисто в непосредственном противополжении эмпирическому; не в подобных конечных достоверностях в себе и для себя дело философии. Философия, которая, чтобы начать с известной достоверности, исходит из наиболее общезначимого положения или деятельности, близких любому человеческому рассудку, либо делает этой полезностью нечто излишнее — ибо она, чтобы быть философией, должна сейчас же выходить за пределы этой ограниченности и снимать ее; а обыденный человеческий рассудок, который должен быть этим соблазнен, не преминет заметить момент, когда мы покинем его сферу и пожелаем вывести его за его собственные пределы, — либо же, если это конечное достоверное, не снятое, как таковое, должно оставаться и существовать как нечто неподвижное, ему наверняка придется признать свою недостаточность и *потребовать* бесконечности, но тем самым бесконечное выступит лишь как требование, как нечто мыслимое, *только как идея*, которая в качестве необходимой и всеобъемлющей, все замыкающей собой идеи разума потому есть все же нечто одностороннее, что все мыслимое ею или вообще нечто определенное, с которого было начато, и сама эта идея полагаются разделенными. Эти способы спасения ограниченного возвышают абсолютное до высшей идеи, но только не до единственного бытия, а поскольку лишь отсюда и начинается наука философии, во всей системе которой эта противоположность сохраняется в качестве господствующей и абсолютной, то эти спо-

собы и есть именно самое характерное для нашей новейшей философской культуры, так что к этому понятию относится, пожалуй, все, что в наши дни сочтено было философией. Если даже величайшее явление в философии последнего времени не настолько преодолело неподвижную полярность внутреннего и внешнего, постороннего и потустороннего, чтобы как противоположные ей не сохранялись от прошлого, — философия, которая только приближается к абсолютному, и другая, которая находится в абсолютном (пусть даже последняя и имеет только статус веры); если таким образом противоположности дуализма была придана ей наивысшая абстрактность и тем самым философия не была выведена из сферы нашей рефлектирующей культуры, — то уже у самой формы наивысшего абстрагирования противоположности — величайшая важность и от таких кричащих крайностей тем легче переход к подлинной философии, что, собственно, уже сама идея абсолютного, которая здесь выдвигается, отвергает противоположность, привносимую формой идеи, долженствования или бесконечного требования. Нельзя упускать из виду и то, насколько выиграло изучение философии вообще и, с другой стороны, на какое разнообразие форм она может распространяться благодаря многообразным способам разработки противоположности (преодолеть каковую стремится всякая философия), способам, которые претерпела эта противоположность по причине того, что против одной из форм этой противоположности, господствовавших в одной философии, выступала следующая по порядку философия и преодолевала ее, пусть даже бессознательно впадая в иную форму той же противоположности.

Напротив, исключительно дурными сторонами отличается другая распространенная манера, которая стремится немедленно, сразу по появлении, *популяризировать* философские идеи или, вернее, распространять их среди всех. По природе своей философия есть нечто эзотерическое, не для толпы сотворенное и к приготовлению для вкусов толпы не приспособленное; она потому и философия, что прямо противоположна рассудку, а тем более здравому человеческому смыслу,

под которым понимается пространственная и временная ограниченность извечного рода, поколения людей; относительно здравого смысла мир философии в себе и для себя есть мир перевернутый. Узнав, что Аристотель распространяет в публике сочинения о своей философии, Александр писал ему из центра Азии, что тому не следовало делать общим достоянием то, о чем они вместе философствовали, а Аристотель в свою защиту отвечал, что его учение хотя и обнародовано, но вместе с тем и не обнародовано; так и философии необходимо признавать возможность того, что народ возвысится до нее, но не опускаться самой до народа. Однако в наши времена свободы и равенства, когда образовалась столь широкая публика, не желающая ни от чего отказываться и считающая себя достаточно умной для чего угодно или же все что угодно достаточно умным для себя, в такие времена даже самое лучшее и прекрасное не могло избежать своей судьбы; неспособная возвыситься до того, что, как видит она, летит высоко над нею, низкая обыденность возится с ним и мусолит его до тех пор, пока оно не становится достаточно обыденным, чтобы быть усвоенным; опошление же возведено в ранг своего рода доблести. Нет ничего в самых высоких устремлениях человеческого духа, что не испытало бы на себе эту судьбу; достаточно лишь промелькнуть в искусстве или в философии какой-нибудь идее, чтобы ее тут же начали разваривать и распаривать до тех пор, пока она не поспеет для кафедры, компендия и домашнего потребления публики «Имперского вестника»; Лейбниц в своей «Теодицее» отчасти взял на себя этот труд в отношении своей философии и этим обеспечил широкую известность не своей философии, а своему имени; ныне для этой цели всегда найдется достаточно услужливых людей. С отдельными понятиями дело решается само собой, достаточно всего-навсего перенести их названия на то, что давным-давно известно в гражданской жизни; Просвещение уже по происхождению своему, а также в себе и для себя выражает плоскую обыденность рассудка и его спесивое самовозвеличивание над разумом, потому-то Просвещению и не требуется изменять своего значения, чтобы

сделаться любимым и понятным; можно, однако, предполагать, что слово «идеал» включает в себе всеобщее значение всего того, что не содержит в себе никакой истины, а слово «гуманность» — того, что вообще плоско и пошло. На первый взгляд обратный, а по сути дела тот же самый случай имеем мы, когда популярен уже сам материал, и предметам популярным, ни на шаг не выходящим из сферы общего понимания, требуется с помощью философского и методического приготовления придать внешнюю видимость философии. Как в первом случае выдвигается предположение, будто философское может в то же время быть и популярным, так во втором — будто то, что по природе своей популярно, может каким-то образом стать философским, то есть в обоих случаях — совмещение поверхностности с философией.

Различные устремления такого рода можно связывать вообще с пронизывающим все вещи духом беспокойства и непостоянства, отличающим наше время; после долгих веков жесточайшей косности, лишь ценой ужасных судорог расстающейся со старой формой, он наконец привел немецкий дух к тому, чтобы распространить понятие непрестанного изменения и нововведений и на философские системы; и однако это пристрастие к изменениям, к новому не следует путать с безучастностью игры, величайшее легкомыслие которой и есть как раз ее возвышенная и единственно истинная серьезность; ибо в беспокойной суе этой страсти за дело с величайшей серьезностью берется ограниченное, которому, однако, судьба с необходимостью уготовила темное чувство недоверия и тайное отчаяние, заметное уже в том, что серьезная на вид ограниченность, не обладая живой серьезностью, в целом не так уж много может отдать за свои интересы, а посему и в состоянии добиваться не большого, а в лучшем случае самого эфемерного воздействия.

Если угодно, это беспокойство можно рассматривать и как брожение, благодаря которому дух подымается к новой жизни из тлена отмершего образования и возрождается из пепла в обновленном юном образе. Картезианская философия выразила в философской

форме повсюду распространяющийся дуализм культуры, характерный для новой истории нашего северо-западного мира, *дуализм*, который означал гибель всей прежней жизни, сторонами которого, только по-разному отраженными, являются и мирные изменения общественной жизни людей, и более громогласные религиозные и политические революции: от этой философии, равно как и от общей культуры, которую она выражает, вынуждена была искать средств спасения всякая сторона живой природы — также и философия; то, что в этом направлении предпринималось философией ясно и открыто, подвергалось бешеным нападкам, а что делалось прикрито и запутанно, становилось еще более легкой добычей рассудка, который переделывал все это в прежнюю дуалистическую сущность; эта смерть стала основанием всех наук, и даже то, что было в них научного, то есть по крайней мере субъективно живого, было полностью умерщвлено временем; так что если бы и не было непосредственно самого духа философии, который, будучи погружен в это широкое море и стеснен в нем, лишь сильнее чувствует мощь своих растущих крыльев, — то тогда уже сама скука наук (этих зданий оставленного разумом рассудка, который уже разрушил теологию, прикрываясь, что хуже всего, взятым напрокат именем Просвещения и морального разума) неминуемо должна была бы сделать невыносимой поверхностную экспансию и пробудить тоску мертвого богатства по капле живого огня, по сгустку живого созерцания и, после того как все мертвое давным-давно познано, тоску по познанию живого, доступному лишь разуму.

Следует с необходимостью верить в возможность такого действительного познания, а не просто в негативное прохождение сквозь новые формы или в беспреостанное их вырастание, если ожидать от критики познания истинного действия: не чисто негативного разрушения этих ограниченностей, но прокладывания пути для истинной философии; в остальном, если для нее возможно только первое, то и здесь всегда справедливо хотя бы, чтобы урезывались претензии ограниченности и отравлялось ее наслаждение своим эфемерным

существованием; кто хочет, может видеть в критике лишь вечно крутящееся колесо, которым каждый мир низвергает какой-нибудь очередной образ, вынесенный наверх волной. Пусть тот, кто так считает, чувствует себя при этом уверенно, опираясь на широкое основание здравого человеческого смысла, пусть он любит этим объективным зрелищем появления и исчезновения, пусть он черпает в нем утеху и укрепление в своем отходе от философии, — ведь для него в индуктивном а priori сама философия, о которую разбивается ограниченное, только один из видов этой ограниченности; либо же он, с искренним любопытным участием поражаясь приходу и уходу вырастающих форм, с большим трудом овладевает ими, а затем умными глазами следит за их исчезновением, позволяя им нести себя в головокружительном потоке.

Если сама критика хочет утвердить одностороннюю точку зрения против других столь же односторонних, то она есть полемика и пристрастное дело одной из партий [Partei]; вместе с тем и истинная философия, выступая против не-философии, не в состоянии избежать внешнего облика полемики, ибо, поскольку у нее в ее позитивном нет ничего общего с не-философией и она не имеет возможности поэтому связываться с ней в критике, философии не остается ничего, кроме негативного критизирования и конструирования необходимо единичного явления не-философии, а поскольку та не имеет правил и проявляется по-иному в каждом индивидуе, то и индивида, в котором вышла она наружу. А поскольку, когда против одного множества стоит другое множество, каждое из них называется партией, и как только одно из них перестает чем-либо казаться, так и другое перестает быть партией, то, во-первых, каждому из множеств должно казаться невыносимым быть только партией и не избегать при этом той моментальной самой по себе исчезающей кажимости, которую оно принимает в споре, а потому ему неизбежно приходится ввязываться в борьбу, представляющую собой непрерывное обнаружение присущего другому множеству *ничто*, во-вторых же, если бы одно множество,

желая спастись от опасности борьбы и обнаружения своего внутреннего ничто, объявило противное множество *только* партией, то тем самым оно объявило бы его *чем-то* и отказало бы себе в той общезначимости, для которой то, что на самом деле есть партия, не может не быть уже не партией, но попросту уже *ничем*; тем самым оно признало бы себя партией, то есть *ничем* для истинной философии.